

А.Я. Гуревич

## АПОРИИ СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ – МНИМЫЕ И ПОДЛИННЫЕ

Разговоры о кризисе исторической науки время от времени возобновляются, и сейчас несколько чаще, чем прежде. Ознакомление с зарубежной историографией показывает, что в ней существуют самые различные направления, сплошь и рядом противоборствующие. Возникли представления о новых трудностях, подстерегающих историков. Все это заставляет вновь поставить вопрос: существует ли на самом деле кризис мировой исторической науки? К сожалению, в нашей стране не так много историков, которые всерьез занимаются этой проблематикой, и поэтому понятно, что высказывания тех немногих, кто этот вопрос поднимает, заслуживают сугубого внимания и выработки каких-то позиций в отношении этой проблемы.

В этой связи мне показалось существенным задуматься над некоторыми соображениями, высказанными Г.С. Кнабе в статье "Общественно-историческое познание второй половины XX века, его тупики и возможности их преодоления" (Одиссей-93). Г.С. Кнабе констатирует наличие кризисной ситуации в исторической науке, которую он связывает прежде всего с тем, что одни историки изучают макропроцессы, тогда как другие испытывают потребность изучать микропроцессы, повседневную, "роевую", по выражению Толстого, жизнь людей, и согласовать оба эти течения – макро- и микроисторию – оказывается весьма трудно. Нет способа или пока он неясен, каким образом можно было бы сочетать оба эти подхода к изучению прошлого. С одной стороны, изучаются крупные исторические события, структуры, катаклизмы, потрясающие общество, с другой стороны, есть хаотичная и предельно приближенная к отдельному человеку жизнь, которая с трудом охватывается историками, если они ограничиваются старыми традиционными методами исследования.

Но Г.С. Кнабе не ограничивается характеристикой тех трудностей, с которыми встретились историки, и делает некоторые предложения, дает рекомендации относительно возможных путей преодоления этого критического, на его взгляд, состояния. Каковы эти предложения?

Г.С. Кнабе выдвигает четыре пункта, которые мне и хотелось бы последовательно рассмотреть. Может быть, не совсем в том порядке, как они расположены в его статье.

Я начну с последнего. Это вопрос об устной истории. Несомненно, устная история – запись того, чему свидетелями были те или иные лица, не обязательно профессиональные историки, но прежде всего рядовые участники исторического процесса, на памяти которых происходили события – не только их личной или групповой жизни, но и большой истории – представляет огромный интерес. Как человек воспринимает события, современником или даже, возможно, участником, которых он был, как он их оценивает, каким образом он хранит информацию об этих событиях – все это в высшей степени интересно.

Устная история, несомненно, имеет большие потенции, и она должна привлечь внимание тех, кто занимается современностью. Эшелонированность устной истории во времени весьма ограничена, она ограничена памятью человека – не обязательно его индивидуальной, он может опираться на своих современников – но больше, чем на два–три поколения вглубь, она, конечно, уходить не может.

Однако здесь уместно заметить, что устная история – это тоже очень специфический феномен, поскольку доверять устным рассказам можно только после внимательной, вдумчивой, всесторонней критики этих сообщений как возможного исторического источника. Я припоминаю рассказ о том, как один английский джентльмен времен королевы Елизаветы I, задумав написать историю Англии, уселся удобно за письменный стол и в это время услышал шум на улице, высунулся из окна и увидел какую-то потасовку, мелкое уличное происшествие. Через некоторое время он услышал, как очевидцы этого происшествия рассказывали друг другу о том, что произошло буквально несколько часов тому назад. Версия каждого из рассказчиков и версия самого джентльмена, будущего историка, оказались весьма различными. Этот джентльмен отложил перо и отказался писать историю Англии: как можно писать историю прошлого, если люди не могут достигнуть согласия относительно интерпретации даже того события, участниками или непосредственными свидетелями которого они только что были?

Выражение “врет, как очевидец”, не означает, что очевидцы всегда сознательно искажают то, о чем они дают свои свидетельские показания, будь то в суде, в мемуарах или в рассказах. Речь идет о другом – о системе восприятия людьми того, что они наблюдают. Реальность оказывается преломленной в их сознании, отягощенной фантазией, и сплошь и рядом искаженный образ ее запечатлевается в их памяти как истинный рассказ о происшествии. Все это, конечно, не может быть непреодолимым препятствием для работы историка, и сам механизм переработки первичной информации в сознании свидетеля тоже заслуживает всяческого интереса. Источник, который искажает, не перестает быть историческим источником. Просто он становится источником не столько свидетельствующим о том, о чем он непосредственно повествует, сколько источником для понимания психологии свидетеля, его мировосприятия. Эти субъективные элементы “сетки координат”, через которую проходит соответствующее сообщение, отражают определенную духовную ситуацию его

времени, состояние умов, в большей или меньшей степени характерное для некой социальной группы или для общества в целом. Эти аспекты менталитета сами по себе являются важнейшими компонентами исторического процесса, мимо которых историк не вправе пройти. Мы касаемся здесь более общей проблемы критики исторического источника – критики, учитывающей психологические предрасположения, систему ценностей, взгляды людей, свидетельства которых мы, историки, ныне изучаем. Такое критическое отношение к источнику подобает не только исследователю устной истории, но и тому, кто имеет дело с письменными источниками, независимо от того, к какой эпохе они относятся.

Устная история для исследователя далекого прошлого, скажем, для меня, медиевиста, в том виде, в каком она рисуется историку современности, конечно, не существует. Но здесь имеется другая сторона дела, а именно: в прошлом, наряду с зафиксированными в письменных текстах свидетельствами о происшедшем, бытовали, конечно, бесчисленные устные рассказы, фольклор, эпос, молва и другие, не фиксированные иначе, чем человеческим сознанием и рассказом феномены, которые, тем не менее, в какой-то мере, пусть фрагментарно и опосредованно, могли найти отзвук в письменных текстах. Как вычленишь из произведений, сочиненных, записанных образованными людьми, то, что мы называем фольклором, народными преданиями, поверьями, расхожими вымыслами, слухами и т.д.? В какой мере это удастся выяснить историку? Иногда это удастся, но по большей части устные рассказы не наложили никакого отпечатка – как кажется, во всяком случае, современному историку – на те тексты, которые он изучает: они исчезли безвозвратно.

Итак, устная история, при всей колоссальной значимости ее для современности, конечно, ни в коей мере не может быть расценена как панацея для преодоления критических затруднений, сложностей, испытываемых исторической мыслью в целом. Это все о первой рекомендации Г.С. Кнабе.

Вторая пропозиция относительно возможности выхода историков из кризисного положения – использование “исторической прозы”. Г.С. Кнабе полагает, что такой жанр литературы мог бы преодолеть разрыв между макроисторическими структурами, в которых историки-исследователи описывают динамику исторического процесса, его статические состояния, крупные политические события, с одной стороны, и повседневной жизнью людей, жизнью, может быть, не содержащей таких макротрепетений, но тем не менее очень важной для историка – с другой. По мнению Г.С. Кнабе, этот разрыв может быть преодолен, ибо талантливый автор, старающийся вжиться в эпоху и располагающий значительными сведениями, почерпнутыми из исторических источников, выстраивает их в какой-то ряд, в котором события “большой истории” переплетаются с повседневной жизнью людей, и силой воображения автора может быть воссоздана более многомерная, многоцветная, живая, пластичная и поэтому

внутренне убедительная для читателя картина соответствующего периода или эпизода мировой истории.

Если Г.С. Кнабе настаивает на том, что "историческая проза" вовсе не то же самое, что исторический роман, то не согласится ли он все-таки с тем, что историки пишут прозой? В этой "исторической прозе" всегда и с неизбежностью присутствуют как сведения и наблюдения, основанные на анализе исторических источников, так и фантазия или, если угодно, интуиция ученого, без какой-либо используемые им данные не могут обрести связи и смысла. Мой коллега выделяет особый жанр исторических повествований, в которых художественное творчество приобретает самостоятельную значимость, и видит в этом жанре специфический и более эффективный способ проникновения в текучую и неповторимо конкретную жизнь людей прошлого. Я не ставлю под сомнение допустимость этого жанра, но склонен рассматривать его как особый вид литературы, выводящий нас за рамки собственно исторической дисциплины. Смешивать или хотя бы сближать методы исторического анализа с приемами, направленными на художественное познание действительности, на мой взгляд, недопустимо. Хорошо известно, что "территория", образуемая амальгамой обоих подходов, нередко служит той почвой, на которой легко возникают исторические мифы.

В частности, я не склонен, причислять Н.З. Дэвис к авторам "исторической прозы" в ее понимании Г.С. Кнабе. Моим высокоцитируемым оппонентам напомню, что толчком к сочинению "Возвращения Мартена Герра" послужила работа над сценарием одноименного художественного фильма. Но из этой работы выросло независимое от кинофильма серьезное исследование. В этой монографии "романным" является не фантазия американской исследовательницы, но самый сюжет, продиктованный источником. Автор обсуждает фабулу, которая дана ей историческим текстом — записью судьи XVI в. Кораса, и старается как можно глубже проникнуть в человеческие ситуации и эмоции. Нужно признать, что, пытаясь расшифровать побуждения и чувства своих персонажей, Дэвис пришлось высказать некоторые гипотезы, которые едва ли могут быть вполне обоснованы текстом источников. Как показал Р. Финли, автор остро критичной и не лишенной оснований рецензии на эту книгу (*Finlay R. The Refashioning of Martin Guerre // American Historical Review. 93. 1988*), Н.З. Дэвис невольно нарушает границу, отделяющую историческое исследование от fiction; ее гипотезы и толкования внутренних побуждений крестьянки, которая была оставлена мужем и якобы приняла за него появившегося в деревне восемь лет спустя авантюриста, равно как и побуждения обоих этих мужчин, не находят достаточного обоснования в изученном ею тексте Кораса. Потому-то ей и пришлось высказать целый ряд предположений относительно ментальных установок и мотивов поведения героев этой истории. Иными словами, эта сторона книги, представляющей в целом чрезвычайный интерес, не может быть принята за образец нового типа исторического повествования.

Знакомство с другими трудами Н.З. Дэвис убеждает в том, что, как правило, она вовсе не склонна допускать вымысел и нарушать указанную

границу. О том, что она не расположена смешивать данные источника с собственными домыслами, свидетельствует ее монография "Fiction in the Archives" (1986), где она исследует прошения о помиловании, которые осужденные за убийства и иные преступления лица направляли французскому королю. В них эти люди XVI в., естественно, давали свою версию происшедшего, стремясь оправдаться и отвлечь грозившую им кару. Скрупулезно вникая в содержание и лексику прошений, исследовательница показывает, как различия в возрасте и поле осужденных, их социальный статус и образование (или необразованность) служили факторами формирования разных дискурсов. Я не собираюсь анализировать здесь это интереснейшее исследование, но хочу лишь подчеркнуть: fiction в его контексте – вымыслы авторов прошений о помиловании, но отнюдь не метод презентации материала.

Только что вышла в свет новая капитальная монография Н.З. Дэвис "Women on the Margins. Three Seventeenth-Century Lives" (1996). В ней рассматриваются жизненные пути трех женщин XVII в.: католички, иудейки и протестантки; эти женщины оставили свои автобиографии. обстоятельный анализ их сочинений предваряется Н.З. Дэвис вымышленным ею разговором с этими дамами; в частности, они винят ее в не вполне адекватном истолковании их жизненных судеб, а наша исследовательница пытается объяснить им свой замысел. Но этот раздел книги четко отделен от ее основного содержания. Fiction и History решительно разграничены и ни в коей мере не смешиваются. Таков метод, которого придерживается Дэвис и какому, по моему убеждению, надлежало бы следовать любому историку.

Кстати, не могу не отметить, что умолчания Г.С. Кнабе едва ли не более красноречивы, нежели прямые высказывания. Проблематика изучения менталитета, занявшая в современной историографии видное место и прежде всего связанная с попытками преодолеть разрыв между историей структур и макрособытий и историей на уровне человека, странным образом совершенно им игнорируется. Мне представляется это в высшей степени удивительным.

Третье соображение Г.С. Кнабе касается того, что сейчас называется "исторической демографией", или "демографической историей". Это серьезное, весьма развитое, распространенное течение современной исторической мысли. До недавнего времени историки не обращали должного внимания на определенные аспекты человеческой жизни, имеющей для нее, само собой разумеется, колоссальное значение. Рождение, секс, брачные отношения, любовь, отношение к ребенку, отношение к женщине, отношение детей к родителям и родителей к детям, наконец смерть – это домен истории чувств, истории ментальностей. Но есть другой аспект исторической демографии, который, собственно, и выделялся специалистами до сих пор как самый главный, а именно – это изучение кривых роста или падения рождаемости, смертности, брачности, количества детей в се-

мые, продолжительности жизни, миграции населения и т.д. Исследуются те пертурбации, которые переживает род человеческий в те или иные периоды истории в тех или иных обществах, для того, чтобы выяснить, каково было народонаселение, каковы возможности его увеличения, каковы те трудности, препятствия и катастрофы, которые нарушали достигнутый баланс и приводили подчас к резким падениям и отступлениям от поступательного развития. Короче говоря, это вопрос о народонаселении и его движении, в том числе – в количественном выражении. В этом направлении уже сделано очень много. Однако должен признаться, что историческая демография, фиксирующая свое внимание на сборе и анализе данных, которые могли бы послужить источниками для построения соответствующих кривых подъема и упадка, стагнации и регресса в численности населения и условий, приводивших к таким последствиям – эта историческая демография сама по себе, при всей ее значимости, мне представляется периферийным, вспомогательным средством для понимания исторических процессов, взятых в их тотальности.

Возникает опасение: не приведет ли дальнейшее сосредоточение внимания преимущественно на количественных аспектах исторической демографии к тому, что на смену учению о способах материального производства будет выработана некоторая теория и история детопроизводства. При всей колоссальной важности вопросов – растет или сокращается население, каковы материальные условия, в которых осуществляется рождение и развитие человека, какова структура семьи, какова средняя продолжительность жизни и т.д. и т.п., все же сами по себе эти вопросы вряд ли существенно помогут нам решить важнейшие проблемы исторического развития, взятые, опять-таки, в их тотальности. С другой стороны, подключить к построению этих кривых и других диаграмм, и более сложных количественных конструкций конкретный материал, касающийся ментальных состояний, систем ценностей, связанных с упомянутыми мною феноменами типа рождения, смерти, отношения к детству, женщине, сексу и так далее, историкам, как правило, не удастся. Либо они сосредоточивают внимание на этих количественных факторах, игнорируя или, во всяком случае, не учитывая психологические состояния, либо, наоборот, как Ф. Арьес, они рассматривают только эти состояния: как известно, у Арьеса есть две классические работы: “Ребенок и семейная жизнь при Старом порядке” (*L'enfant et la vie familiale sous l'ancien régime*. P., 1960) и “Человек перед лицом смерти” (*L'Homme devant la mort*. P., 1977). Он берет два полюса человеческой жизни: рождение и детство, с одной стороны, и отношение человека к смерти – с другой. Как то, так и другое направление обладает, как мне кажется, чрезвычайной односторонностью. Односторонность построения всякого рода таблиц и графиков уже упомянута. Что же касается истории ментальностей, связанных со смертью или ребенком, то у историков имеется довольно богатый материал для того, чтобы выяснить соответствующие ценностные ориентации людей прошлого, их отношение к рождению и смерти, к детству и материнству, к браку, сексу, любви и т.п.

Но как сочетать эти две тенденции? Все это остается в литературе весьма проблематичным. Я упомяну только одну работу – работу нашего отечественного видного специалиста Ю.Л. Бессмертного “Жизнь и смерть в средние века”. (М., 1991). Книга вышла под очень привлекательным и многообещающим названием, но читатель, который поверит тому, что написано на ее обложке, разочаруется в том смысле, что не о жизни и смерти в их многообразии, не об экзистенциальном переживании этих феноменов человеком средневековья идет речь, а о попытках выяснить преимущественно количественные тенденции. Насытить эти абстрактные величины и их динамизм жизненным содержанием ценностей и ценностных ориентаций автору не удалось, и я думаю, что причина тут в самом предмете, который явно распадается на два трудно связываемых между собой аспекта. Точно так же с содержащимся в книге Ю.Л. Бессмертного материалом плохо согласуются принципы “новой демографической истории”, декларируемые им в “Одиссее-94”. Едва ли можно обольщаться относительно того, что демографическая история способна вывести из кризиса историческую науку в целом. Я думаю, что это все же периферийный аспект исторических знаний на современном этапе.

Какова четвертая пропозиция Г.С. Кнабе? Он полагает, что историк, который хотел бы глубже проникнуть в действительность далекого или недавнего прошлого, мог бы прибегнуть к тому, что он условно называет “исторической метафорой”. Его не удовлетворяет рассмотрение общества *en gros*, либо каких-то социальных групп в их многообразии и разветвленности, равно как накопление различного материала, который в сумме даст возможность достигнуть синтеза. Г.С. Кнабе предлагает другое: можно выбрать фигуру одного видного исторического персонажа и через всесторонний анализ его жизни, деятельности, творчества, влияния “высветить” всю его эпоху.

Что по этому поводу можно сказать? Я боюсь, что этот метод отнюдь не нов. В свое время историки уже писали историю, сосредоточивая свое внимание подчас именно на фигуре какого-нибудь великого человека, полагая, что через это “окно” можно увидеть широкую панораму эпохи. Едва ли это так, ибо исторический персонаж, на котором фиксирует свое внимание исследователь, обладал неповторимой индивидуальностью и то, что выразилось в его творчестве, в его деяниях – политических или культурных – принадлежит прежде всего ему. Хотя они несут на себе отпечаток эпохи, его деяния все же характеризуют его как нечто специфическое и неповторимое. Фиксация внимания историка на таком персонаже и превращение всей эпохи, всего общества в некое окружение, в фон, на котором он действует, это, повторяю, тот путь, по которому историки неоднократно ходили. Такой метод вряд ли дает нам возможность пропорционально, в должной перспективе оценить общество в целом и ведет как к изоляции данного индивида, так и к односторонней стилизации эпохи.

Я думаю, что вопрос надо было бы ставить несколько иначе – показать привязанность исторического персонажа к своему времени и рассмотреть его не как изолированную фигуру, а в ряду других. Г.С. Кнабе ссылается на работу Л.М. Баткина об Абельяре. Разумеется, Абельяр – весьма интересная и во многом загадочная фигура в истории Франции XII в. и можно подходить к его рассмотрению с разных сторон, что и делается историками на протяжении столетия, если не более. Но в ряде исследований и – в частности и в особенности – в трудах Л.М. Баткина, Абельяр выступает почти в полной изоляции, он – совершенный одиночка. Ведь не случайно, Л.М. Баткин в последние годы изучает таких персонажей, как Блаженный Августин, Абельяр, Элоиза, Петрарка. Эти выдающиеся люди, гении, как бы “перекликаются” друг с другом через столетия – с V до XIV в. На протяжении тысячелетия выделены несколько фигур, которые должны служить как бы эмблематическими выражениями колоссальной эпохи, называемой нами средневековьем. Но ведь возможна и другая постановка вопроса, при которой Абельяр не был бы исключен из своего собственного времени, а наоборот – был бы вплетен в плотную конкретно-историческую, культурную ткань. Разве Абельяр – это единственный интеллеktуал XII в., который заслуживает нашего интереса и который заставляет историков обратить на него сугубое внимание в силу того, что он занимается самим собой, обсуждая события собственной жизни, т.е. сосредоточен на своем ego. Изображение судьбы и личности Абельяра в такой “блестящей изоляции” не вполне продуктивно. Что я имею в виду? Современниками Абельяра были Сугерий де Сен-Дени, Бернар Клервоский, Гвибер Ножанский, Хильдегарда Бингенская и другие писатели, мыслители, визионеры, мистики. Все они весьма индивидуальны, не похожи друг на друга, но именно это многоголосье, “лица необщее выраженье” каждого из них и представляет особый интерес для того, чтобы анализировать личность Абельяра в тесном контексте, образуемом этими и, может быть, многими другими персонажами того же XII в. на латинском католическом Западе. В самом деле. Возьмем Гвибера Ножанского: по масштабам своего творчества, по уровню мысли и интеллекта он едва ли сопоставим с Абельяром. Но, может быть, тем он и интересен, что этот гораздо более заурядный аббат, нежели выдающиеся мыслители, каким был Абельяр, тоже испытывает потребность описать свою жизнь. “Автобиография” – не тот термин, который вполне применим к его творчеству и к творчеству других людей XII в., писавших о себе. Их писания принадлежат скорее к жанру исповеди, и Гвибер нисколько не скрывает, что он пишет, подражая своему великому предшественнику – Блаженному Августину; он пишет именно исповедь, и первые и последние слова его сочинения об этом прямо и непосредственно говорят. Правда, он делает это очень своеобразно. Он подробно говорит о своем детстве и даже о событиях, предшествовавших его рождению, поскольку там были определенные сложности в отношениях отца с матерью; затем, когда он становится монахом и настоятелем монастыря, его “Я” оттесняется на задний план историей его аббатства. Гвибер дает целый ряд в выс-



шей степени важных зарисовок из жизни аббатства и исторических событий, которые происходили при его жизни. Таким образом, перед нами определенные элементы автобиографизма, но этот автобиографизм весьма специфичен – он явно связан с тенденцией идентифицировать себя с более широким кругом явлений, с аббатством, заслонить свое “Я” рассказами о поклонении святым, о чудесах, которые творили их мощи. И только в таком контексте Гвибер оказывается способен осознать самого себя. Это весьма любопытно. Здесь не индивидуализм, проявляющийся в том, что человек противопоставляет себя всем другим и выделяет свое собственное “Я”, а, наоборот, саморастворение “Я” в более широкой социальной и духовной среде.

Сугерий из Сен-Дени – настоятель важнейшего в идеологическом, религиозном и политическом смысле аббатства Франции XII столетия. Э. Панофски показывает, что, описывая предпринятую им реконструкцию аббатства Сен-Дени, Сугерий то ли растворяет это аббатство в своем ego, то ли растворяет свое “Я” в этом аббатстве. Что это слияние означает? Очевидно, человек не может ограничиться собственной индивидуальной сущностью, чтобы дать описание своей жизни. Вероятно, он весьма нечетко осознает границы своего собственного “Я”, или воспринимает их иначе, нежели человек современного атомизированного общества. Его самоутверждение связано с саморастворением в чем-то, лежащем за пределами его непосредственного, узко понимаемого “Я”.

Здесь нет необходимости останавливаться на других фигурах XII в. – я просто хочу высказать предположение, что облик самого Абельяра мог бы стать более ясным, если бы мы сопоставили его с этими и другими современниками. Нет ли оснований думать, что во Франции XII в. существовали определенные условия, которые служили побудительными стимулами для того, чтобы мыслящие, образованные лица сосредоточились на собственной персоне?

Я думаю, что нужно прибегать не к такого рода “метафорам”, о каких говорит Г.С. Кнабе, а скорее как раз к противоположному – к рассмотрению возможно более широкого контекста с тем, чтобы в этом контексте лучше понять, что происходило с каждым из индивидов, на которых по тем или иным причинам сфокусирована мысль историка.

Иными словами, ни одна из рекомендаций Г.С. Кнабе, направленных на реориентацию современной мысли исследователя для того, чтобы преодолеть трудности, возникшие перед историческим знанием, не кажется мне всерьез помогающей решить те проблемы, которые перед нами встали.

Здесь я перебыю сам себя и возвращусь к вопросу: что мы разумеем под кризисом исторической науки? Я полагаю, что кризис есть нормальное состояние науки – и, в частности, исторической. Если нет ощущения кризиса, если все идет по накатанным рельсам, если историки используют уже отработанные, апробированные методы, руководствуются не раз

и не два проверенными моделями и идеальными типами – вот в таких случаях, я думаю, скорее можно говорить о “кризисе” исторической науки. Этот кризис выражался бы тогда в том, что историки не ищут нового, они довольствуются уже сделанным, что неизбежно ведет к повторению пройденного, лишь к подтверждению достигнутых результатов, иначе говоря, к замедлению развития исторического исследования, к застою. Но все это мы уже испытали. Мы работали в то время, когда повторялись одни и те же модели, когда историкам не приходилось критически задумываться над проблемами своего ремесла, и мы знаем, к каким плачевным результатам такое якобы бескризисное состояние привело. Вот это и был настоящий кризис, который вел к деградации исторической науки.

Итак, на мой взгляд, ощущение “кризиса” – это признак жизни. Отсутствие кризиса смахивает на лежание в морге. Поэтому сама по себе констатация кризиса в исторической науке не ввергает меня в панику. Я думаю, иначе историческое знание и не может существовать, если наука действительно стремится к поискам нового, к новым открытиям в области метода.

История – это спор без конца. Нет ни одного тезиса, который мог бы быть сформулирован историками раз и навсегда. Всякое утверждение историка предполагает дальнейшую дискуссию, проверку этого тезиса и либо модификацию его, либо углубление, либо опровержение. В этом нет ничего страшного, хотя историк, высказавший то или иное положение и встретивший критику со стороны своих коллег, не может, разумеется, не испытывать каких-то болезненных эмоций. Но эта, повторяю, дискуссия представляет собой самую сердцевину исторического ремесла и поэтому ничего трагичного я тут не нахожу.

Однако из этой констатации я отнюдь не склонен делать вывод, что все обстоит благополучно и что мы должны довольствоваться утверждением, что да, кризис налицо и слава Богу, и все хорошо. Нет, этот кризис порождает сложности, в которых нужно всякий раз разбираться. И сейчас перед нами вырисовываются новые тенденции, к которым каждому историку необходимо выработать свое личное отношение.

Каковы новые направления исторической мысли, которые не были развиты несколько десятилетий тому назад и с которыми нам приходится так или иначе иметь дело теперь? Это история “картин мира”, или история ментальностей, это изучение истории “изнутри”, т.е. такое изучение, которое подходит к человеку во времени, к социальной группе не как к внешнему объекту, а как к участнику диалога между человеком прошлого, “Другим”, с одной стороны, и человеком современной культуры, историком – с другой. Это – первое направление, о котором можно было бы многое сказать, но, поскольку так или иначе о нем все время здесь шла речь, я не буду к нему возвращаться. Но это направление очень общее, и в контексте его время от времени выделяются какие-то новые субнаправления.

Одна из этих тенденций, как мне кажется, то, что стали недавно называть “микросторией”. Микростория – такое историческое исследова-

ние, при котором внимание историка фиксируется не на макропроцессах, охватывающих обширные территории, значительные протяженности времени, большие массы людей, а наоборот – форма исторического исследования, которая, образно говоря, вооружена не телескопом, а микроскопом, когда под увеличительным стеклом историк рассматривает отдельный конкретный факт, группу фактов, локальное событие. И он получает частный результат, который не может быть экстраполирован на все многосложное поле исторических феноменов, окружающее данный факт, но который дает возможность пролить на это общее поле некий дополнительный свет. Этот вывод историка фиксирует частное явление, но при всей кажущейся изолированности данного явления может оказаться удачной попыткой проникнуть глубже в структуру целого. Поэтому микроистория, строго говоря, вряд ли представляет собой оппозицию макроистории: она скорее экземплифицирует макроисторию на локальном уровне. При этом, конечно, меняется метод, как меняется и статус получаемых результатов.

В современных работах, которые пытаются обозреть достижения микроистории, на первый план выдвигаются труды ряда итальянских и французских ученых. Один из наиболее известных примеров микроисторического исследования – “Сыр и черви” Карло Гинзбурга (*Le formaggio e i vermi: Il cosmo di un mugnaio del'500*. Torino, 1976). В протоколах фриульской, т.е. североитальянской инквизиции Гинзбургу удалось разыскать дело одного мельника, по прозвищу Меноккио, который был осужден инквизицией и сожжен на костре почти одновременно с Джордано Бруно. Но дело Джордано Бруно, гуманиста, ученого, еретика известно всякому и представляет собой один из элементов “большой истории”, в то время как костер, на котором был сожжен Меноккио, не запечатлен нигде, кроме протоколов инквизиции, обнаруженных Карло Гинзбургом лишь сравнительно недавно.

Кто этот Меноккио? Как, наверное, и многие другие сельские мельники, он представлял собой специфическую фигуру. Это не рядовой крестьянин, но человек, живший несколько на отшибе, к мельнице которого регулярно стекалось большое количество людей, чтобы смолоть свой хлеб; поэтому мельницы не только здесь, но и в других местах Европы могли спорадически служить крестьянскими “клубами”. Но дело не в этом, а в самом Меноккио. Это был человек, овладевший грамотой, что само по себе для конца XVI в. в крестьянской среде уже не было каким-то раритетом. Он получил возможность прочитать некоторые, случайно попавшие в его руки, книги религиозного и светского содержания. К. Гинзбург показывает, как своеобразно этот сельский интеллектuala, если можно его так назвать, читал книги и во что они в его сознании перерабатывались и переваривались. Меноккио, начитавшись этой литературы, создал свою доморощенную, противоречивую, во многом примитивную философию. Книга “Сыр и черви” названа так потому, что, по мнению Меноккио, как в сыворотке, из которой изготавливается сыр, заводятся черви, так, когда Господь сотворил Вселенную, в ней тоже завелись

подобия червей – ангелы, и так начался мир. В силу того, что Меноккио был безмерно разговорчив и стремился поделиться своими выводами и философскими построениями с первым встречным, на него скоро донесли, он попал под подозрение, его вызвали на суд инквизиции, запретили читать и высказывать подобные взгляды. Но он не выдержал долго, возобновил свои философские разглагольствования, за что в конце концов и поплатился жизнью. Перед нами, несомненно, уникальный случай самоучки-мельника, который высказывает ни на что не похожую, “самодельную” философию. Это явление обнаружено и описано средствами микроистории.

Но вместе с тем, Карло Гинзбург, как мне кажется, делает и другое. Посредством анализа неповторимого, из ряда вон выходящего случая, он показывает своеобразие крестьянского мышления, или, лучше говорить, мышления необразованного человека из народа, который, тем не менее, овладел грамотой и был обуреваем жадной знаний и жадной философствовать на базе тех обрывков ученой культуры, которые он так или иначе в себя впитал и столь своеобразно переплавил в свой собственный дискурс. Это исключительный случай, но вместе с тем любопытно и то, что, по-видимому, здесь раскрывается механизм прочтения ученой культуры простолудиною, только прикоснувшимся к грамотности, восприятия ее на основе тех расхожих представлений, которые вполне могли быть принадлежностью более широкого слоя сельского населения. Короче говоря, перед нами тот случай, в котором уникальное может действительно послужить образчиком для приближения к пониманию более распространенного и типического.

Мне кажется, что перед нами действительно существенное направление исторического исследования, которое как бы в капле обнаруживает отражение Вселенной. Но смысл микроисторического подхода ни в коей мере не исчерпывается тем, что он помогает конкретизировать и делать более наглядными микропроцессы. Раскрываемые на микроуровне феномены сохраняют самоценность, они помогают яснее представить реальный хаос “броуновского движения” в истории, где бесчисленные мелкие и однократные факты могут ведь вовсе и не сливаться в более мощные течения на уровне макроистории. Микроистория открывает для историков доступ в те области социальной жизни, которые традиционно оставались вне их поля зрения.

Микроисторическое исследование вводит нас в такой срез действительности, где могут накапливаться различные потенциалы, которые либо реализуются, либо – возможно, чаще – остаются нереализованными в дальнейшем историческом движении. Иными словами, на уровне микроистории можно разглядеть зародыши альтернативного развития, которые почти все историки оставляют без внимания. Между тем, проблема альтернативности в истории, наличия в ней иных возможностей, нежели те, которые осуществились, все чаще вырисовывается в качестве существенной задачи исследования. Это особая тема, но важно не упустить из виду, что она тесно связана, в частности, с микроисторическим анализом. “Неосуществившаяся история” (Ungeschehen Geschichte), дискуссия о ко-

торой резко оживилась за последние годы, как кажется, принадлежит к области фантастики. Разумеется, история не знает сослагательного наклонения. Но это утверждение относится прежде всего к историческому процессу в его наиболее общих очертаниях. Как обстоит дело с отдельными событиями, с микропроцессами и в особенности с бесчисленными случайностями, которые, суммируясь, налагают свой отпечаток на "большую историю", и, возможно, способны в какой-то мере изменить ее ход?

Другая тенденция современной исторической мысли — это *Begriffsgeschichte*, "история понятий", которыми пользуются историки и которыми могли по-своему пользоваться люди прошлого. Самые расхожие, казалось бы, самые обыденные понятия, в содержание которых мы, как правило, к сожалению, не вдумываемся, такие, как "общество", "семья", "богатство", "бедность", "власть", "свобода", "право", "личность", "религия", "вера" и многие другие, нуждаются в том, чтобы историк, который ими пользуется и не может не пользоваться, постоянно их обсуждал и проверял на "прочность", на применимость, когда он рассматривает другую эпоху, другую культуру, нежели его собственная. Поэтому все эти понятия должны быть изучены самым внимательным образом на историческом материале.

Мы уже затрагивали такую проблему, как проблема человеческой личности. В какой мере личность, индивидуальность существует, скажем, в эпоху Абельяра, или во времена, когда жил Мартен Герр? Вопрос о структуре личности и ее самосознании — это, как я уже старался подчеркнуть в другой связи, один из важнейших и актуальнейших вопросов современного исторического изыскания. Чтобы правильно поставить этот вопрос и подойти к его решению, требуется прежде всего продумать и уточнить, что же мы имеем право называть "личностью", в каком смысле мы употребляем понятие "индивидуальность" применительно к той или иной культуре, к тому или иному этапу развития общества.

Все понятия — и те, которые я назвал, и многие другие — не могут быть взяты нами в абстрактной форме, их надлежит рассматривать в контексте той системы, которая существовала в изучаемый исторический период. История понятий, ориентация на их анализ есть одно из направлений исторической мысли, которое сейчас только начинает осмысляться как важный аспект исторического познания. Даже в тех случаях, когда мы употребляем, казалось бы, такие простые понятия, как "деревня", "община", "крестьянин" применительно к эпохе раннего средневековья, не задумываясь над их конкретно-историческим содержанием, то — и об этом неоднократно свидетельствует длительная практика историографии — исследователей подстерегают ошибки, которые, накапливаясь, приводят к нарушению исторической перспективы. Не вдаваясь здесь в подробности, можно утверждать: до XI—XII вв. на Западе еще не существовало — по крайней мере, в развитом виде — ни деревни, ни сельской общины, ни крестьянства в том смысле, в каком историки применяют эти понятия для последующей эпохи. За этими элементарными, на первый взгляд, понятиями кроется масса сложностей, и здесь возникает немало проблем как социально-исторического, так и ментального плана.

Я не намерен сейчас продолжать перечень направлений исторического исследования, которые сделались актуальными в последнее время. Но мне хотелось бы подчеркнуть, что одной из наиболее характерных черт исторической мысли конца XX в. является возрастающая саморефлексия историка. Мы не можем не задумываться над интеллектуальными предпосылками наших исследований, которые вольно или невольно определяют как применяемые нами методы, так и формы и структуру наших построений. Нашей мыслью движут некие самые общие предпосылки, которые мы далеко не всегда склонны и способны критически проанализировать и оценить.

Я ограничусь только одним примером. Определяя, что такое история, обычно подчеркивают: история – это движение, процесс непрерывного развития. Казалось бы, правильно, но для того, чтобы это утверждение было вполне верным и обоснованным, т. е. опирающимся на конкретные знания, нужно иметь в виду, что не менее существенным фактором истории была статика. Пока историки концентрировали свое внимание на истории Европы, в их сознании доминировала идея эволюции, поступательного развития, смены различных социальных и политических образований. Естественно, что история мыслилась как динамический процесс. Но когда бок о бок с историей стран Запада сложились такие направления, как этнология и социокультурная антропология, изучающие жизнь традиционных обществ, видение истории не могло не измениться. В “холодных” обществах нет ощущения постоянной изменчивости и динамизма, в сознании принадлежащих к ним людей доминирует “миф о вечном возвращении”. Эти общества, как правило, воспроизводят себя на прежней основе, они малоподвижны, и их функционирование скорее можно описать в терминах гомеостаза, консервации “изначальных” структур, нежели динамики. Тип развития Европы оказался не правилом, а исключением. Но в таком случае и в самой истории Европы, вероятно, следовало бы обращать внимание не только на эволюцию, но и на состояния равновесия и неизменности. Я имею в виду как прерывность исторического развития, в ходе которого возможно изменение его темпов, так и многоуровневность самого этого исторического движения. Дело в том, что в одну и ту же эпоху в разных пластах социально-исторического процесса приходится констатировать разные формы протекания времени. На это обстоятельство со всей определенностью указывал Ф. Бродель, отмечавший существенное различие между “временем большой длительности”, характерным для уровней экологии и экономики, временем социальных изменений и “нервным, коротким временем” политических событий. Время большой длительности (*la longue durée*) – это время малоподвижное, связанное скорее со статическими состояниями, нежели с теми динамическими процессами, которые обычно прежде всего привлекают мысль историков. Под поверхностью быстрых политических изменений подчас скрываются менее заметные стабильные структуры. Старые модели поведения, казалось бы, преодоленные новым развитием, могут вновь и вновь обнаруживаться на последующих стадиях истории. Исследователи

едва ли вправе упускать из виду эту диалектику исторического развития, его неподвластность линейной, векторной эволюции, его своеобразие и многоуровневость в каждый данный период.

“Апория” исторического знания, констатируемая Г.С. Кнабе, действительно имеет место. Для ее преодоления, хотя бы частичного, современными историками выработаны такие подходы к источникам, которые присущи определенным направлениям исторического исследования.

Я позволю себе обратить внимание высокочтимого коллеги на такие направления современного научного поиска, как “история повседневной жизни”, “история частной жизни”. Достаточно упомянуть “Histoire de la vie privée”, изданную в 80-е годы под редакцией Ф. Арьеса и Ж. Дюби, или серию “Medium Aevum Quotidianum”, публикуемую австрийскими учеными и насчитывающую уже несколько десятков выпусков. Ученые, работающие в рамках указанных направлений, сосредоточиваются не на глобальных социальных, экономических и политических процессах, а на частных, на первый взгляд, малозаметных феноменах, связанных с бытом и повседневностью человеческого существования. Представители всех этих направлений, несомненно, в той или иной мере ощущают те трудности, на которые указал Г.С. Кнабе, но ищут выходы, оставаясь на почве исторического исследования, не подменяя своей профессией профессию беллетриста.

Историки ментальностей концентрируют свое внимание на эмоциональной жизни людей, не являющихся выдающимися историческими деятелями, на присущих им системах ценностей и образе мышления, определявших в свою очередь их индивидуальное и социальное поведение. Переработка истории ментальностей в историческую антропологию, несомненно, связано с резко выросшим интересом к человеку – к любому человеку во всех проявлениях, которые так или иначе зафиксированы в исторических памятниках.

Акцент на “апории” исторического познания, делаемый Г.С. Кнабе, не отвечает реальной ситуации в нашей профессии. Проблема, представляющаяся мне центральной и наиболее тревожащей, состоит в другом.

Литературная форма исторического повествования до недавнего времени казалась внешней его оболочкой, природа которой не затрагивает самого его существа. Теперь становится все более ясным, что дело обстоит не так просто. Форма дискурса, в которую отливается изложение исторического материала, теснейшим образом связана с принципами его осмысления. Эта форма отнюдь не “невинна”, она, подчас помимо воли и сознания исследователя, во многом определяет само содержание создаваемого им текста. На эту сторону дела со всей определенностью указывают те ученые, с именами которых связано направление гуманитарного знания, известное под названием “лингвистического поворота”, или “постмодернизма”.

Постмодернистская критика литературных произведений была распространена на сочинения историков. Лидеры этого критического направления (Хейден Уайт, Ф.Р. Анкерсмит, Д.Ла Капра и др.) подчеркивают то обстоятельство, что историк как в прошлом, так и в настоящем, вольно или невольно строит свой текст, подчиняясь требованиям риторики, господствующим в его время. В центре внимания этих критиков оказывается “поэтика истории”. Язык историка, насыщенный стилистическими оборотами, отнюдь не нейтрален идеологически. Труды постмодернистов, в которых они рассматривают сочинения историков и философов прошлого и настоящего столетий, изобилуют такими категориями, как “ирония”, “комедия”, “трагедия”, “метафора”, “метонимия”, “синекдоха”. Выстраивая свой сюжет, историк формирует повествование в соответствии с привычками мысли и языка своей культуры. Из непрерывного потока событий автор исторического сочинения вычленяет некий фрагмент, повествованию о котором он придает определенную фабулу, и в результате этого “осюжетивания” по существу стирается грань между произведением историка и художественным произведением. Исходя из этих соображений, теоретики постмодернистской историографии ставят общую проблему: в какой мере историк, претендующий на достоверное изображение прошлого, способен реконструировать его? Поскольку историк, сам того не сознавая, находится в плену литературного дискурса, то не превращается ли на практике его попытка восстановления прошлого в создание своего рода вымысла? Историки выдвигают не более чем интерпретации прошлого, и историческое познание, на взгляд постмодернистских критиков историографии, представляет собой, по сути дела, серию равноправных интерпретаций, не имеющих отношения к исторической истине. Время истории как бы удалено из этих интерпретаций, его подменяет современность.

Если у Хейдена Уайта подобный релятивизм носит умеренный характер (*Hayden White. Metahistory. 1973*), то у такого представителя “лингвистического поворота”, как Ф.Р. Анкерсмит, тезис о принципиальной невозможности проникнуть в глубины истории выражен с предельной четкостью. Уподобляя целостный исторический процесс, в его истолковании философами и следующими за ними историками, стволу дерева, а более специальные исторические концепции (историю идей или историю способов производства) – ветвям, Анкерсмит утверждает: ныне у историков имеются лишь беспорядочно опавшие листья деревьев – разрозненные сообщения об отдельных феноменах и событиях, которые историки-деструктуралисты вольны подвергать произвольным интерпретациям; что касается самого дерева и ветвей, то они безвозвратно исчезли. “...У нас более нет никаких текстов, никакого прошлого, только их интерпретации” (*Ankersmit F.R. Historiography and Postmodernism // History and Theory. 1989. Vol. XXVIII. P. 139*).

Если отвлечься от этих нигилистических оценок, то нужно признать, что постмодернистские критики исторической науки энергично подчеркивали те познавательные трудности, с которыми она, эта наука, действи-



тельно столкнулась и которые так или иначе осознавались учеными, склонными вдумываться в природу исторического познания и специфику применяемых им методов. Ситуация в гуманитарных дисциплинах, несомненно, приобретает более драматичный характер в силу того, что постмодернисты делают акцент именно на этих трудностях. Ибо если прямолинейно и до конца развить соображения о доминирующей роли риторики в презентации прошлого, то можно прийти к поистине пессимистическим и ликвидаторским выводам: история как научная дисциплина, целью которой является реконструкция прошлого, невозможна, поскольку историки на самом деле рисуют картины, с этим прошлым не связанные, но продиктованные современностью.

Постмодернистская критика относится не к одному лишь творчеству современных историков – она распространяется в равной мере и на изучаемые ими тексты. В историческом памятнике приходится видеть не только источник сведений о прошлом, но и своего рода средостение, если угодно, преграду, которая скрывает от взора исследователя прошлое, “как оно было на самом деле”, и предлагает некое его толкование автором изучаемого текста.

Здесь не место обсуждать проблему “лингвистического поворота” в историографии, и я ограничусь тем, что отошлю читателя к материалам, посвященным обсуждению указанной проблемы, в “Одиссее-1995” и “Одиссее-1996”. Тем не менее необходимо подчеркнуть, что упомянутые сейчас нигилистические выводы несостоятельны. Историки, склонные к теоретической рефлексии над своим ремеслом и озабоченные тем, чтобы постоянно проверять и оттачивать орудия исторического познания, сумеют противостоять упомянутым трудностям. Некоторые соображения на этот счет я высказал в статье “Территория историка” (Одиссеей-1996).

Соглашаясь с тем, что история, подобно другим научным дисциплинам, устанавливает причинно-следственные и корреляционные связи, я хотел бы напомнить о том, что этим она не ограничивается. Историческое познание направлено, в первую очередь, на раскрытие смысла. Поскольку речь идет об историческом исследовании, то имеется в виду не какой-то метафизический смысл истории (его демонстрацией озабочены теология и философия), но тот смысл, который люди-участники исторического исследования привносили в свою жизнь, в окружавший их природный и социальный мир, в свое повседневное поведение. Историк не может отказаться от попыток расшифровки символических и знаковых систем, которыми люди прошлого наделяли действительность. Человек – *animal symbolicum* (Э. Кассирер), и ко всем текстам, в которых запечатлены мысли и действия актеров и авторов исторической драмы, необходимо применять герменевтические процедуры. Наука истории не может довольствоваться *Erklären*, ее конечной целью является *Verstehen*.

Одна из важнейших презумпций гуманитарного знания состоит в том, что человек другой эпохи, принадлежащий к другой культуре, “иной”, в определенной мере отличающийся от нас: он обладал собственной картиной мира, и без углубленного прочтения этой картины, без изучения при-

сущей ему системы ценностей и норм поведения мы не в состоянии ощутить его духовную атмосферу. Все деяния людей изучаемой культуры пронизаны этой атмосферой.

Если обратиться к тем произведениям современной историографии, которые вызывают живой интерес как специалистов, так и читающей публики, вновь и вновь возбуждая споры и обсуждения – “Возвращение Мартена Герра” Н.З. Дэвис, “Benandanti” (“Благоидущие”) и “Сыр и черви” К. Гинзбурга, “Монтайу” Э. Леруа Ладюри, “Великое избиение кошек в Париже” Р. Дарнтона, – то нетрудно убедиться в том, что в основе анализа исторических источников, предпринятого их авторами, лежит именно эта презумпция “инаковости”. Не менее очевидно и то, что сюжетами упомянутых сочинений служат не крупные исторические события или процессы, протекающие в броделевском “времени большой длительности”, но отдельные эпизоды жизни простых людей. Эти моменты суть не что иное, как разрывы рутины повседневности, в которых с чрезвычайной яркостью проявляются особенности мировидения простолюдинов.

И вот что в высшей степени показательно: постмодернисты, критики историографии, развенчивающие нарративную историю, с уважением останавливаются перед названными выше и подобными им исследованиями. Историко-антропологический метод, открывающий доступ к потаенным глубинам исторического бытия, оказывается, выдерживает натиск их критики. Ибо трудно отрицать, что здесь из глубин прошлого, из XIV, XVI или XVIII вв. к нам приходят послания, свидетельствующие о своеобразии жизни и мироощущения людей этих эпох.

Исходя из вышеизложенного, я решаюсь возразить Г.С. Кнабе, что подлинная “апория” современного исторического познания заключается в другом. В основе трудностей, которые переживают историки наших дней, трудностей, порождающих кризис нашей профессии, лежит проблема ответственности историка, как и всякого гуманитария. Историк должен занять ясную и недвусмысленную позицию перед угрозой растущего национализма и шовинизма и противостоять всякого рода псевдоисторическим мифологиям. Не менее важно и противодействие тенденциям субъективистского отношения к истории. Я понимаю ответственность историка двояко: во-первых, как его ответственность перед современностью, которая уполномочила его изъяснять смысл других культур, и, во-вторых, перед людьми, принадлежащими к этим другим культурам, ибо только при его посредстве наше время вступает с ними в диалог, “возрождая” их и углубляя наше понимание как самих себя, так и людей этих иных культур.